

LE MESSENGER

ВЕСТНИК

РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

132

ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК — МОСКВА

№ 132

TRIMESTRIEL

III-IV - 1980

ВОСПОМИНАНИЯ О МАНДЕЛЬШТАМЕ

I

В. ШВЕЙЦЕР

Мы печатаем несколько страничек воспоминаний об О. Э. Мандельштаме доцента Ленинградской Консерватории, пианистки Изы Давыдовны Ханцин-Моргулис, вдовы одного из немногих по-настоящему близких и понимавших Мандельштама людей — Александра Осиповича Моргулиса (1898-1938). Написаны они для вечера, посвящённого Мандельштаму в Ленинградском Доме писателей осенью 1975 г., на котором И. Д. Ханцин не могла быть из-за болезни.

Слова «старик Моргулис» и «моргулеты» (просьба писать через «о», как писалась фамилия героя «моргулет») знакомы тем, кто любит поэзию Мандельштама, и тем, кто читал книги Надежды Яковлевны Мандельштам. «Старик Моргулис» (из дат его рождения и смерти видно, что «старик» едва дожил до 40 лет) был ростовчанин, окончил в своё время юридический факультет Ростовского Университета, знал языки, был блестящим знатоком и ценителем поэзии и музыки (Н. Мандельштам называет его «человеком-оркестром»). Это было живой, красивый, весёлый и обаятельный человек. После революции он не мог найти определённого и твёрдого места в «новом» мире. Моргулис что-то переводил, был деятелем в Ленинградском Союзе писателей, в 1931-32 гг. редактировал в Москве газету Наркомроса «За коммунистическое просвещение (отсюда «моргулеты», «Моргулис — он из Наркомпроса...» и «У старика Моргулиса глаза...»), куда взял на работу и Н. Я. Мандельштам (с этим связан «моргулет», «Старик Моргулис под сурдинку...»). Повидимому, он метался, ведь надо было как-то где-то работать, кормить семью, но внутренне невозможно было приспособиться к тому, что происходило вокруг. Метания эти кончились, как и у многих его современников, арестом и гибелью в лагере.

Мандельштамы и Моргулиты дружили семьями — об этом пишет И. Д. Ханцин. Я хотела было написать «дружили домами», но вспомнила, что у Мандельштамов почти никогда не было дома да и у Моргулисов он был не слишком прочен, иначе бы ему не приходилось «сбегать», как пишет Н. Я. Мандельштам, в Москву в поисках заработка.

Мне довелось в Ленинграде разговаривать с несколькими женщинами, давным-давно знавшими Мандельштамов; Иза Давыдовна обрадовала меня необывательским отношением к поэту. Вероятно потому, что сама она — художник, пианистка, человек, проживший жизнь в мире музыки, она видит, чувствует и помнит Мандельштама прежде всего как гения, человека, общаться с которым было счастьем и радостью. Для меня это оказалось особенно важно потому, что накануне я провела вечер с другой женщиной, литературной вдовой, тоже близко знавшей Мандельштамов, и наслушалась рассказов о том, каким чудаковатым, легкомысленным и необя-

зательным человеком был Мандельштам, как он не выполнял обязательств, не отдавал долгов, не умел устраиваться в жизни. Поразительно: она смотрела на Мандельштама сверху вниз! Прошло к тому времени почти 40 лет со дня гибели и её мужа и Мандельштама, а она продолжала помнить какие-то прежние обиды, неоплаченные счета портного или машинистки, сводить давно не существующие счёты. Я вдруг почувствовала, что попала чуть не на полвека назад, что именно так не понимали и не ободряли Мандельштамов при жизни поэта те, кто соприкасался с ними, так же снисходительно или слегка презрительно обсуждали его «странности» и «слабости», его «неумение жить». Конечно, она знала, что Мандельштам теперь в славе и даже в «моде», поэтому говорила осторожно и как бы с сожалением. Мне интересно любое слово о Мандельштаме, но я сидела и удивлялась: неужели она не заметила, что в её доме жывал гений? Как могла она не понять этого? Может быть, она была слишком молода тогда... И вот — Иза Давыдовна, начавшая словами: «Осип Эмильевич был необыкновенный человек!». В коммунальной квартире, где соседки, конечно же, недовольны тем, что она играет, в небольшой комнате, половину которой занимает рояль, я услышала слова о том, что к Мандельштаму неприменимы обычные мерки, что он был особенный и просто не мог жить «как все»: ходить на службу, приносить «получку», экономить... Она не был «добытчиком» и умел тратить деньги, у него был для этого и термин «виллонизм» (от Франсуа Виллона). Все, кто любил дар Мандельштама, понимали это. «И мы, если у нас появлялись деньги, всегда хотели поделиться с ним, доставить ему радость...» Мне вспомнился рассказ моего московского приятеля, очень старого человека, знавшего Мандельштама (но не бывшего с ним знакомым) в ранней молодости во времена Петербургского Университета. Тогда много было людей, которые любили брать в долг, но не любили отдавать. Впрочем, речь шла о 2-3-х рублях. Помню, в нашем кругу такой разговор: «Какой неприятный человек Мандельштам! Никогда не отдаёт долгов.» И вдруг какая-то девушка (вероятно, курсистка): «Если бы Мандельштам у меня взял денег, я сочла бы это честью для себя». К сожалению, с годами такие люди становились редкостью и к концу жизни Мандельштама почти совсем исчезли. Одними из таких были Моргулисы.

И. Д. Ханцин рассказывает о Мандельштаме как о светлом гении, замечательном и весёлом человеке, ни на кого не похожем. И она с мужем любили его за это.

Иза Давыдовна подарила мне эти свои воспоминания, дала переписать несколько «моргулет» и на прощанье дала фотокопию открытки, которую написала ей в давние годы Мандельштамы вместе с литературоведом В. А. Мануйловым. Меня поразило, что Мандельштам, общаясь с музыкантом, так запросто начинает письмо нотной фразой — Сонатой Соль-минор Шумана.

Спасибо Вам, Иза Давыдовна, и не сердитесь на меня, что я печатаю это без Вашего разрешения.

И. ХАНЦИН-МОРГУЛИС

Мемуары — не мой жанр, но болезнь помешала мне выступить и рассказать о Мандельштаме так, как хотелось бы, поэтому я прошу простить мне эскизность моих заметок. Но хотя бы в нескольких словах мне хочется охарактеризовать этого удивительного человека.

Первая моя встреча с О. Э. Мандельштамом состоялась в Киеве, в 1919 году. Сначала я встретилась с Н. Я. Хазиной, с семьёй которой я очень дружила, — Осип Эмильевич появился позже.

Киев был тогда проходным городом, в котором скопились люди, бежавшие из голодных Москвы и Петрограда. Было в Киеве кафе, называвшееся ХЛАМ (художники, литераторы, артисты, музыканты), куда стекались все люди искусства, — там мы и познакомились с Мандельштамом. При первой встрече поразили его стихи, и внешность, и особенно чтение стихов.

Но знакомства были тогда непрочны: власть постоянно менялась, мы не знали, что будет завтра — кто-то уходил с белыми, кто-то с красными, кто-то прятался или бежал за границу.

При первой же возможности, в 20-х годах, я уехала в Ростов. Спустя некоторое время там появились и Мандельштамы.

Опять-таки все пути вели в кафе поэтов, куда мы приходили выпить чайку, узнать новости и, конечно, почитать стихи и послушать музыку. Посетители кафе были самые разнообразные, вплоть до Хлебникова. Но и в Ростове пребывание Мандельштамов не было продолжительным — они сами не распоряжались тогда своей судьбой, так же, впрочем, как мы все.

В Ростове я встретилась с А. О. Моргулисом, за которого вышла замуж, и мы вернулись в город моего детства, город, где я училась, — Ленинград.

Следующая наша встреча и более близкое знакомство с Осипом Эмильевичем произошло уже в Ленинграде (1925-1927) — тогда Мандельштамы жили в Лицее, мы часто бывали у них, они — у нас. И после переезда Мандельштамов в Москву наши отношения не прервались — мой муж чуть ли не еженедельно бывал в Москве по роду работы. (Он был членом Правления Союза писателей, а кроме того ездил по издательским делам — он был

переводчиком). Осип Эмильевич очень нежно любил моего мужа. Как мне помнится, таким же нежным взглядом он смотрел только на своего младшего брата Шуру. У нас Мандельштам как-то смягчался, его внутренняя напряжённость разряжалась; кроме того, он очень доверял литературному вкусу моего мужа. Осип Эмильевич постоянно читал нам стихи. Сам очень радовался рождению каждой «Моргулеты» (здесь стоит почитать что-нибудь из «Моргулет»).

Хочется добавить, что он был вращён в Петербург и в то же время горячо любил юг и всегда стремился туда; с Москвой он не сливался.

Все мы, во всяком случае большинство, принадлежим к какой-нибудь породе животных — Осип Эмильевич был похож на птицу; это птичье сказывалось во всём. Его голова была чуть поднята кверху и наклонена набок при опять же птичьей летящей походке. Его лицо всегда обращало на себя внимание из-за необыкновенно выразительных глаз — страданье в них сменялось нежностью, задумчивостью, иногда в них было отсутствующее выражение.

Главным в этом человеке была эмоциональная окраска всего, что бы он ни делал: на всё повышенная реакция. Он был легко раним и впечатлителен, очень остро всё воспринимал.

На протяжении всех лет, что я его знала, он подсознательно — а возможно, и сознательно — сопротивлялся всему бытовому. (А может быть, он протестовал против традиций семьи, своего буржуазного воспитания?) Ему было всё равно, что на нём надето. Вот пример: в Ростове он отправился в парикмахерскую, потом зашёл за нами в кафе поэтов и сказал, что забыл в парикмахерской шляпу; мы все отправились за шляпой, но гардеробщик выгнал нас, сказав, что Мандельштама он видит впервые. Оказалось, что за углом есть другая парикмахерская, туда Осип Эмильевич пошёл уже один — мы побоялись.

На этот раз он не ошибся и вышел в шляпе — но в какой! — это было что-то вроде котелка неопределённого цвета и формы, в который Мандельштам почти провалился.

— Ося, что у тебя на голове?! — говорила Надя. Он удивлялся.

— Как, разве это не моя шляпа? — Мандельштам не знал своих вещей.

И вещи не любили его и убегали от него, всё пропадало. Надежда Яковлевна без конца искала исчезнувшие вещи.

Так же он относился и к деньгам — радовался им и очень легко, сам не зная на что, тратил, так что денег, как правило, не было.

Каждому человеку присущ свой стиль и, следовательно, свой антураж. Но если бы режиссёру пришлось ставить спектакль о Мандельштаме, то он оказался бы в затруднении — в какую обстановку поместить этого удивительного человека. Он не нуждался в обстановке — в столе, в секретаре и т. п., — для создания стихов ему было достаточно кухонного стола или подоконника.

Создать ему быт Надежда Яковлевна не могла, он разрушал его тут же, да она и сама не очень это умела — в чём-то они были очень похожи. Их взаимные отношения доходили до общего дыхания. Ей было много хлопот с ним: она старалась уберечь его от непонимания и нападок, она боялась отпускать его одного — он не умел соблюдать правил так называемого общественного порядка, в котором очень плохо разбирался, и потому боялся уличной администрации — милиционеров и управхозов; кроме того, он был рассеян.

Эта постоянная боязнь чего-то ощущалась в нём постоянно, он словно предчувствовал свой рок.

Как чтец своих стихов Мандельштам незабываем. Ему была присуща поразительная музыкальность, и ритм стихов он ощущал и передавал не как производную метра, а как музыку. Ритм был ему врождён. Свои стихи он оркестровал поразительно и как поэт, и как чтец. Интонации его были очень выразительны и разнообразны — всё это делало стихи в его устах ещё значительнее.

Интонации менялись. Например, шуточные стихи «Александр Герцевич» или «Моргулеты» произносились совсем в другой тональности, для них он находил новые краски. Его музыкальность проявлялась, конечно, не только в поэзии — такого слушателя интересно иметь любому исполнителю.

Он любил Шумана, Шопена, Бетховена, Скрябина, Баха. Я часто играла ему — он слушал с блаженным видом и закрытыми глазами. При этом часто невнятно произносил какие-то слова, вероятно, музыка в его восприятии тотчас сливалась с поэзией.

Я не исследователь и не аналитик — здесь есть специалисты-филологи, объясняющие его творчество лучше меня, но я горжусь и никогда не забуду своих встреч с этим человеком, одарившим нас своей гениальностью.

Ноябрь 1975 г.